

Альбер Камю

Посторонний



*Часть сборника
Посторонний. Миф о Сизифе
Калигула (сборник)*



Альбер Камю Посторонний

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9739559

Альбер Камю. Посторонний. Миф о Сизифе. Калигула: АСТ; Москва; 2014

ISBN 978-5-17-083384-9

Оригинал: Albert Camus, "L'ÉTRANGER"

Перевод:

Нора Галь

Аннотация

Дебютная повесть молодого писателя, своеобразный творческий манифест. Понятие абсолютной свободы – основной постулат этого манифеста. Героя этой повести судят за убийство, которое он совершил по самой глупой из всех возможных причин. И это правда, которую герой не боится бросить в лицо своим судьям, пойти наперекор всему, забыть обо всех условностях и умереть во имя своих убеждений.

Содержание

Часть первая	5
I	5
II	11
III	13
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Альбер Камю

Посторонний

© Editions Gallimard, Paris, 1942

© Перевод. С. Великовский, наследники, 2013

© Издание на русском языке AST Publishers, 2014

Часть первая

I

Сегодня умерла мама. Или, может, вчера, не знаю. Получил телеграмму из дома призрения: «Мать скончалась. Похороны завтра. Искренне соболезнуем». Не поймешь. Возможно, вчера. Дом призрения находится в Маренго, за восемьдесят километров от Алжира. Выеду двухчасовым автобусом и еще засветло буду на месте. Так что успею побыть ночью у гроба и завтра вечером вернусь. Попросил у патрона отпуск на два дня, и он не мог мне отказать – причина уважительная. Но видно было, что недоволен. Я ему даже сказал: «Я ведь не виноват». Он не ответил. Тогда я подумал – не надо было так говорить. В общем-то мне нечего извиняться. Скорей уж он должен выразить мне сочувствие. Но потом, наверно, еще выразит – послезавтра, когда увидит меня в трауре. А пока еще не похоже, что мама умерла. Вот после похорон все станет ясно и определенно, так сказать – получит официальное признание.

Выехал двухчасовым автобусом. Было очень жарко. Позавтракал, как всегда, в ресторане у Селеста. Там все огорчились за меня, а Селест сказал: «Мать-то у человека одна». Когда я уходил, меня проводили до дверей. Напоследок спохватился, что надо подняться к Эмманюэлю – взять займы черный галстук и нарукавную повязку. Он месяца три назад схоронил дядю.

Чуть не упустил автобус, пришлось бежать бегом. Торопился, бежал, да потом еще в автобусе трясло и воняло бензином, дорога и небо слепили глаза, и от всего этого меня сморил сон. Проспал почти до Маренго. А когда проснулся, оказалось – привалился к какому-то солдату, он мне улыбнулся и спросил, издалека ли я. Я сказал «да», разговаривать не хотелось.

От деревни до дома призрения два километра. Пошел пешком. Хотел сейчас же увидеть маму. Но привратник сказал – надо сперва зайти к директору. А он был занят, и я немного подождал. Пока ждал, привратник так и сыпал словами, а потом я увидел директора, он принял меня в кабинете. Это старичок с орденом Почетного легиона. Он посмотрел на меня ясными глазами. Потом пожал мне руку и долго не выпускал, я уж и не знал, как ее отнять. Он заглянул в какую-то папку и сказал:

– Госпожа Мерсо пробыла у нас три года. Вы были ее единственной опорой.

Мне показалось, он меня в чем-то упрекает, и я начал было объясняться. Но он перебил:

– Не надо оправданий, дружок. Я перечитал бумаги вашей матушки. Вы были не в силах ее содержать. Она нуждалась в уходе, в сиделке. Зарботки у вас скромные. Если все принять во внимание, у нас ей было лучше.

Я сказал:

– Да, господин директор.

Он прибавил:

– Понимаете ли, здесь ее окружали друзья, люди ее лет. У нее нашлись с ними общие интересы, которых нынешнее поколение не разделяет. А вы молоды, с вами она бы скучала.

Это верно. Когда мама жила со мной, она все время молчала и только неотступно провожала меня глазами. В доме призрения она первые дни часто плакала. Но это просто с непривычки. Через несколько месяцев она стала бы плакать, если бы ее оттуда взяли. Все дело в привычке. Отчасти из-за этого в последний год я там почти не бывал. И еще потому, что надо было тратить воскресный день, уж не говорю – тащиться до остановки, брать билет да два часа трястись в автобусе.

Директор еще что-то говорил. Но я почти не слушал. Потом он сказал:

– Вы, наверно, хотите видеть вашу матушку.

Я ничего не ответил и встал, он повел меня к двери. На лестнице он стал объяснять:

– У нас тут своя небольшая мертвецкая, мы перенесли покойницу туда. Чтобы не тревожить остальных. Каждый раз, как в нашем доме кто-нибудь умирает, остальные на два-три дня теряют душевное равновесие. И тогда затруднительно за ними ухаживать.

Мы пересекли двор, там было много стариков, они собрались кучками и толковали о чем-то. Когда мы проходили мимо, они смолкали. А за спиной у нас опять начиналась болтовня. Будто приглушенно трещали попугаи. У низенькой постройки директор со мной простился:

– Я вас покидаю, господин Мерсо. Но я к вашим услугам, вы всегда найдете меня в кабинете. Погребение назначено на десять часов утра. Мы полагали, что вы захотите провести ночь подле усопшей. И еще одно: говорят, ваша матушка в беседах не раз высказывала желание, чтобы ее похоронили по церковному обряду. Я сам обо всем распорядился, но хочу вас предупредить.

Я поблагодарил. Мама хоть и не была неверующей, но при жизни религией вовсе не интересовалась.

Вхожу. Внутри очень светло, стены выбелены известкой, крыша стеклянная. Обстановка – стулья да деревянные козлы. Посередине, на таких же козлах, закрытый гроб. Доски выкрашены коричневой краской, на крышке выделяются блестящие винты, они еще до конца не ввинчены. У гроба – чернокожая сиделка в белом фартуке, голова повязана ярким платком.

Тут у меня над ухом заговорил привратник. Наверно, он догонял меня бегом.

Он сказал, запыхавшись:

– Гроб закрыт, но мне велели отвинтить крышку, чтоб вам поглядеть на покойницу.

И шагнул к гробу, но я его остановил.

– Не хотите? – спросил он.

– Нет, – сказал я.

Он отступил, и я смутился, не надо было отказываться. Потом он посмотрел на меня и спросил:

– Что ж так?

Не с упреком спросил, а словно из любознательности. Я сказал:

– Не знаю.

Тогда он покрутил седой ус и, не глядя на меня, заявил:

– Понятно.

Глаза у него были красивые, голубые, и красноватый загар. Он подал мне стул, а сам уселся немного сзади. Сиделка поднялась и пошла к двери. Тут привратник сказал мне:

– У нее шанкр.

Я не понял и посмотрел на сиделку, лицо ее пересекала повязка. На том месте, где положено быть носу, повязка была плоская. На лице только и заметна белая повязка.

Когда она вышла, привратник сказал:

– Я вас оставлю одного.

Уж не знаю, верно, я сделал какое-то невольное движение, только он остался. Он стоял у меня за спиной, и мне это мешало. Комнату заливало яркое предвечернее солнце. В стекло с жужжаньем бились два шершня. Меня стало клонить в сон. Не оборачиваясь, я спросил привратника:

– Вы тут давно?

– Пять лет, – мигом ответил он, словно с самого начала ждал, что я про это спрошу.

И пошел трещать. Мол, вот уж никогда не думал, что будет доживать свой век в Маренго, привратником в богадельне. Ему уже шестьдесят четыре, он парижанин. Тут я его перебил:

– А, так вы не здешний?

Потом я вспомнил: прежде чем проводить меня к директору, он говорил про маму. Говорил, что надо хоронить поскорее, тут ведь Алжир, да еще равнина, вон жара какая. Тогда-то он мне и сказал, что прежде жил в Париже и никак не может его забыть. В Париже с покойником не расстаются три дня, а то и четыре. А здесь нет времени, не успеешь свыкнуться с мыслью, что человек умер, как уже надо поспешать за дрогами. Тут жена его перебила: «Замолчи ты, молодому человеку незачем про это слушать». Старик покраснел и извинился. Тогда я вмешался и сказал: «Нет-нет, ничего». По-моему, все, что он говорил, было верно и интересно.

Потом, в мертвецкой, он мне объяснил, что в дом призрения попал по бедности. Но он еще крепок, вот и вызвался служить привратником. Я заметил – значит, он тоже здешний пансионер. Он возразил – ничего подобного! Меня еще раньше удивило, как он говорил про здешних жителей: «они», «эти», иногда – «старики», а ведь некоторые из них были ничуть не старше его. Но, конечно, это совсем другое дело. Он ведь привратник и в какой-то мере над ними начальство.

Тут вошла сиделка. Неожиданно настал вечер. Над стеклянной крышей вдруг сгустилась тьма. Привратник повернул выключатель, и меня ослепил яркий свет. Потом он предложил мне пойти в столовую пообедать. Но есть не хотелось. Он сказал, что принесет мне чашку кофе с молоком. Я согласился, потому что очень люблю кофе с молоком, и через минуту он вернулся с подносом. Я выпил кофе. Захотелось курить. Сперва я сомневался, можно ли курить возле мамы. А потом подумал, что это не имеет значения. Предложил привратнику сигарету, и мы закурили.

Немного погодя он сказал:

– А знаете, друзья вашей матушки тоже придут посидеть около нее. Такой здесь обычай. Пойду принесу еще стульев и черного кофе.

Я спросил, нельзя ли погасить хоть одну лампу. Яркий свет отражался от побеленных стен, это было утомительно. Привратник сказал – ничего не поделаешь. Так уж тут устроено: либо горят все лампы сразу, либо ни одной. После этого я его почти не замечал. Он вышел, вернулся, расставил стулья. На один стул поставил кофейник и нагромоздил чашки. Потом уселся напротив меня, по ту сторону гроба. Сиделка все время оставалась в глубине комнаты, спиной к нам. Мне не видно было, что она делает. Но по движениям локтей я догадался – наверно, вяжет. Было тихо, я выпил кофе и согрелся, из открытой двери тянуло запахом ночи и цветов. Кажется, я вздремнул.

Меня разбудил шорох. Я успел отвыкнуть от яркого света, и выбеленные стены совсем ослепили меня. Теней не было, каждый предмет, каждый угол и изгиб вырисовывались так четко, что резало глаза. В комнату входили мамыны друзья. Их было человек двенадцать, они неслышно скользили в слепящем свете. Они уселись, и ни один стул не скрипнул. Никогда никого я не видел так ясно, до последней морщинки, до последней складки одежды. Однако их совсем не было слышно, просто не верилось, что это живые люди. Почти все женщины были в фартуках, перетянутых в талии шнурком, от этого еще заметней выдавались животы. Никогда прежде я не замечал, что у старух бывает такой большой живот. Мужчины были почти все тощие и опирались на палки. Больше всего меня поразило в их лицах, что я не мог разглядеть глаз, только что-то мерцало в сети морщин.

Когда они уселись, многие посмотрели на меня и неловко наклонили головы; у всех были беззубые, запавшие рты; я не мог понять, то ли они со мной здороваются, то ли головы их трясутся от старости. Наверно, все-таки это они со мной здоровались. Тут я заметил, что все они, качая головами, сидят напротив меня, по обе стороны от привратника. У меня мелькнула нелепая мысль, будто они собрались, чтобы меня судить.

Вскоре одна женщина заплакала. Она сидела во втором ряду, позади другой старухи, и я плохо ее видел. Она плакала на одной ноте, то и дело всхлипывая; казалось, она никогда не перестанет. Другие словно не слышали. Они все как-то обмякли, сидели хмурые, молчаливые. Каждый уставился в одну точку – кто на гроб, кто на собственную палку, на что попало – и уж больше никуда не смотрел. А та женщина все плакала. Очень странно, совсем незнакомая женщина. Мне хотелось, чтобы она замолчала. Но я не решался ей это сказать. Привратник наклонился к ней, заговорил, но она только мотнула головой, что-то пробормотала и продолжала все так же всхлипывать на одной ноте. Тогда привратник обошел гроб и сел рядом со мной. Долго молчал, потом сказал, не глядя на меня:

– Она была очень привязана к вашей матушке. Она говорит, ваша матушка одна здесь была ей другом, а теперь у нее никого не осталось.

Мы долго так сидели. Понемногу та женщина стала вздыхать и всхлипывать реже. Она еще какое-то время сопела и наконец утихла. Спать больше не хотелось, но я устал, ныла поясница. Теперь меня тяготило, что все они сидят так тихо. Только изредка слышался какой-то странный звук, я не мог разобрать, откуда он. Потом наконец понял: некоторые старики всасывали щеки внутрь, и тогда в беззубом рту странно щелкало. А они этого не замечали, слишком заняты были своими мыслями. Мне даже показалось, что они собрались вокруг покойницы вовсе не ради нее самой. Теперь-то я думаю – это мне просто показалось.

Привратник налил всем кофе, и мы выпили. Что было дальше, не знаю. Миновала ночь. Помню, какую-то минуту я открыл глаза и вижу: все старики спят, обмякнув на стульях, только один не спит – стиснул обеими руками палку, оперся на них подбородком и уставился на меня, словно только того и ждал, чтоб я проснулся. Потом я опять задремал. Проснулся оттого, что у меня все сильнее ныла поясница. Над стеклянной крышей посветлело. Немного погодя проснулся один из стариков и надолго раскашлялся. Он все сплевывал в огромный клетчатый платок, и всякий раз у него словно что-то рвалось внутри. Кашель разбудил остальных, и привратник сказал, что им пора уходить. Они поднялись. После утомительного бдения лица у всех стали серые. Очень странно: уходя, каждый пожал мне руку, будто эта ночь, когда мы не обменялись ни словом, нас сблизил.

Я устал. Привратник проводил меня в сторожку, и я немного привел себя в порядок. Выпил еще чашку кофе с молоком, было очень вкусно. Когда я вышел из сторожки, уже совсем рассвело. Над холмами, которые отгораживают Маренго от моря, небо покраснелось. И ветер доносил из-за холмов соленый запах. Отличный начинался денек. Давно уже я не бывал за городом, и так приятно было бы прогуляться, если бы не мама.

А теперь я ждал во дворе, под платаном. Вдыхал свежий запах земли, и спать больше не хотелось. Вспомнил о сослуживцах. В этот час они встают и собираются на работу – для меня это всегда самое трудное время. Я еще немного подумал обо всем этом, а потом в доме зазвонил колокол и отвлек меня. За окнами началась суeta, потом все опять успокоилось. Солнце поднялось немного выше и пригревало мне ноги. Подошел привратник и сказал, что меня ждет директор. Я пошел в кабинет. Директор дал мне подписать какие-то бумаги. На нем был черный сюртук и брюки в полоску. Он взялся за телефон и сказал мне:

– Прибыли люди из похоронного бюро. Сейчас я велю окончательно закрыть гроб. Угодно вам до этого в последний раз посмотреть на вашу матушку?

Я сказал – нет. Понизив голос, он распорядился по телефону:

– Фижак, велите им, пусть приступают.

Потом сказал мне, что и сам будет на похоронах, и я поблагодарил. Он сел за письменный стол, скрестил свои коротенькие ножки. Мы с ним будем одни да еще дежурная сиделка, сказал он. Обитателям дома не полагается присутствовать при погребении. Он только разрешает им посидеть возле покойника ночь.

– Нельзя забывать о человеколюбии, – заметил он.

Но на сей раз он позволил одному пансионеру проводить покойницу.

– Тома Перез – старый друг вашей матушки. – Тут директор улыбнулся. – Понимаете, чувство это немного ребяческое. Но они с вашей матушкой были неразлучны. В доме над ними подшучивали, Переза называли женихом. Он смеялся. Им обоим это было приятно. И надо признать, что смерть госпожи Мерсо для него тяжелый удар. Я не считал нужным ему отказывать. А вот провести ночь у гроба я ему запретил – так посоветовал наш врач.

Потом мы довольно долго молчали. Директор поднялся и выглянул в окно. Чуть погодя он заметил:

– А вот и священник. Даже раньше времени.

И предупредил, что приходская церковь – в самой деревне Маренго и до нее идти по меньшей мере три четверти часа. Мы вышли из кабинета. Перед домом стояли священник и два мальчика-служки; один служка держал кадильницу, а священник, наклонясь, подтягивал серебряную цепочку. Когда мы подошли, он выпрямился. Он назвал меня «сын мой» и сказал мне несколько слов. Потом вошел в мертвецкую; я последовал за ним.

Я тотчас заметил, что теперь винты глубоко ушли в дерево, и увидел четырех человек в черном. Директор сказал, что катафалк уже ждет, и тут священник начал читать молитву. Все пошло очень быстро. Люди в черном с покрывом в руках подступили к гробу. Священник, служки, директор и я вышли из мертвецкой. У двери ждала какая-то почтенная женщина, прежде я ее не видел.

– Господин Мерсо, – представил меня директор.

Имени этой женщины я не расслышал, понял только, что она здешняя сиделка. Она поклонилась без улыбки, лицо у нее было длинное и очень худое. Потом мы все посторонились, давая дорогу носильщикам. Они вынесли гроб, и мы вышли вслед за ними из ворот. За воротами ждал катафалк. Длинный, блестящий, лакированный, совсем как пенал. Рядом стояли распорядитель – низенький, нелепо одетый человечек – и старик, которому явно было не по себе. Я понял, что это и есть Перез. На нем была мягкая фетровая шляпа с круглой тульей и широкими полями (когда выносили гроб, он ее снял), костюм не по росту, так что штанины гармошкой свисали на башмаки, на шее – черный бант, чересчур маленький для рубашки с таким широким белым воротничком. Нос угреватый, губы трясутся. Под редкими седыми волосами видны престранные уши – нелепой формы, торчащие и притом багрово-красные, это меня поразило, потому что сам он был мертвенно-бледен. Распорядитель объяснил нам, какой будет порядок. Впереди всех священник, за ним – катафалк. Вокруг катафалка – четверо в черном. Позади – мы с директором, а замыкают шествие сиделка и господин Перез.

Небо наполнилось солнцем. Уже начинало припекать, жара с каждой минутой усиливалась. Не знаю, почему мы так долго не двигались с места. В темном костюме я запамятовался. Старичок Перез надел было шляпу, но опять снял. Я слегка повернулся в его сторону и слушал, что говорит про него директор. Тот рассказывал, что по вечерам мама с Перезом часто ходили гулять, их сопровождала сиделка, и они доходили до самой деревни. Я поглядел вокруг. Вереницы кипарисов тянулись к холмам у горизонта, меж кипарисами сквозила земля – где зеленая, где рыжая, – отчетливо вырисовывались редкие домики, и я понимал маму. Должно быть, вечер в этом краю – как раздумчивое затишье. А вот сейчас под неукротимым солнцем все вокруг содрогается и в свой черед становится гнетущим и жестоким.

Мы двинулись в путь. И тут я заметил, что Перез прихрамывает. Дороги катили все быстрее, и старик понемногу отставал. Один из тех четверых тоже дал дорогам себя обогнать и пошел рядом со мной. Удивительно, как быстро солнце поднималось все выше. Оказалось, в полях давно уже гудят и жужжат насекомые, шелестит трава. У меня по щекам струился пот. Шляпу я не захватил и обмахивался носовым платком. Служащий похоронного бюро что-то мне сказал, но я не расслышал. Он вытирал лысину платком, платок держал в левой руке, правой приподнимал фуражку. Я переспросил:

– Что?

Он показал на небо и повторил:

– Ну и шпарит.

– Да, – сказал я.

Немного погодя он спросил:

– Вы покойнице кто – сын?

Я опять сказал – да.

– Старая она была?

– В общем, да, – сказал я, потому что не знал точно, сколько ей было лет.

Тогда он замолчал. Я обернулся и увидел, что старик Перез отстал уже метров на пятьдесят. Он торопился как мог, размахивал руками, в одной руке он держал шляпу. Поглядел я и на директора. Он шагал с большим достоинством, не делая ни одного лишнего движения. На лбу его блестели капли пота, но он их не вытирал.

Казалось, процессия понемногу ускоряет шаг. Вокруг сверкала и захлебывалась солнцем все та же однообразная равнина. Небо слепило нестерпимо. Одно время мы шли по участку дороги, который недавно чинили. Солнце расплавало гудрон. Ноги вязли в нем и оставляли раны в его сверкающей плоти. Клеенчатый цилиндр возницы маячил над катафалком, словно тоже сплетенный из этой черной смолы. Я почувствовал себя затерянным между белесой, выгоревшей синевой неба и навязчивой чернотой вокруг: липко чернел разверзшийся гудрон, тускло чернела наша одежда, черным лаком блестел катафалк. Солнце, запах кожи и конского навоза, исходивший от катафалка, запах лака и ладана, усталость после бессонной ночи... от всего этого у меня мутилось в глазах и путались мысли. Я опять обернулся – Перез маячил далеко позади, в знойной дымке, а потом и вовсе пропал из виду. Я стал озираться и увидел: он сошел с дороги и двинулся через поля. Оказалось, впереди дорога описывает дугу. Стало быть, Перез, которому эти места хорошо знакомы, решил срезать напрямик, чтобы нас нагнать. На повороте он к нам присоединился. Потом мы опять его потеряли. Он снова пошел наперерез, полями, и так повторялось несколько раз. Кровь стучала у меня в висках.

Дальше все разыгралось так быстро, слаженно, само собой, что я ничего не запомнил. Разве только одно: когда мы входили в деревню, сиделка со мной заговорила. У нее оказался необыкновенный голос, звучный, трепетный, очень неожиданный при таком лице. Она сказала:

– Медленно идти опасно, может случиться солнечный удар. А если заторопишься, бросает в пот, и тогда в церкви можно простыть.

Да, правда. Выхода не было. В памяти уцелели еще какие-то обрывки этого дня – например, лицо Переза, когда у самой деревни он нас перехватил в последний раз. От усталости и горя по щекам его текли крупные слезы. Но морщины не давали им скатиться. Слезы расплывались и опять стекались и затягивали иссохшее лицо влажной пленкой. Была еще церковь, и деревенские жители на тротуарах, и кладбище, на могилах краснела герань, и Перез упал в обморок (точь-в-точь марионетка, которую уже не дергают за нитки), и красная как кровь земля сыпалась на мамин гроб, мешаясь с белым мясом перерезанных корней, и еще люди, голоса, деревня, ожидание на остановке перед кафе, потом непрерывное урчание мотора, и как я обрадовался, когда автобус покатило среди огней по улицам Алжира, и я подумал: вот лягу в постель и просплю двенадцать часов кряду.

II

Проснувшись, я понял, отчего у патрона был недовольный вид, когда я просил отпуск на два дня: нынче суббота. Я про это почти забыл, а когда начал вставать — вспомнил. Конечно, патрон сразу подумал, что вместе с воскресеньем у меня выйдет четыре свободных дня, и, понятно, это ему не понравилось. Но, с одной стороны, я не виноват, что маму хоронили вчера, а не сегодня, а с другой стороны, в субботу и воскресенье я бы все равно не работал. Впрочем, я прекрасно понимаю, что патрону это не нравится.

Поднялся я с трудом, потому что накануне устал. Пока брился, думал, как бы провести время, и решил искупаться. Сел в трамвай и поехал в купальни у порта. Кинулся в воду и поплыл. Тут было много молодежи. В воде встретился с Мари Кардона, когда-то она работала у нас в конторе машинисткой, в ту пору я ее хотел. И она, кажется, тоже. Но мы не успели, она очень быстро уволилась. Сейчас я помог ей взобраться на поплавок и при этом коснулся ее груди. Я еще не вылез из воды, а она уже растянулась на поплавке. И повернулась ко мне. Волосы падали ей на глаза, и она смеялась. Я подтянулся и пристроился с ней рядом. Было славно, я откинулся назад и, точно в шутку, положил голову ей на живот. Она ничего не сказала, и я так и остался лежать. Прямо в глаза мне смотрело просторное небо, синее и золотое. Затылком я чувствовал, как тихонько поднимается и опускается от дыхания живот Мари. Мы долго лежали, полусонные, на поплавке. Когда солнце стало слишком припекать, она нырнула, я за ней. Я догнал ее, обнял за талию, и мы поплыли вместе. Она все время смеялась. На пристани, когда мы сошли, она сказала:

— А я загорела сильнее, чем вы.

Я спросил, не пойдет ли она вечером в кино. Она опять засмеялась и сказала, что ей хочется посмотреть картину с Фернанделем. Когда мы оделись, она очень удивилась, что на мне черный галстук, и спросила — разве я в трауре? Я сказал — умерла мама. Она спросила — когда, и я сказал — вчера. Она отступила на шаг, но промолчала. Я хотел было сказать, что я ведь не виноват, да вспомнил, что уже говорил это патрону. Ну, не важно. Все равно, как ни крути, всегда окажешься в чем-нибудь да виноват.

Вечером Мари обо всем забыла. Картина была временами забавная, а в общем, преглупая. Нога Мари прижималась к моей. Я гладил ее грудь. Под конец сеанса я ее поцеловал, но как-то неловко. После кино она пошла ко мне.

Когда я проснулся, Мари уже ушла. Она еще раньше объяснила, что ей надо навестить тетку. Я вспомнил, что нынче воскресенье, и мне стало скучно — не люблю воскресений. Повернулся на другой бок, вдохнул с подушки запах моря от волос Мари и проспал до десяти часов. Потом лежал в постели до двенадцати, курил сигареты. Завтракать, как обычно, у Селеста не хотелось: там, конечно, стали бы расспрашивать, а я этого не люблю. Поджарил себе яичницу и съел прямо со сковородки без хлеба — дома не было ни крошки, а идти покупать не хотелось.

После завтрака мне стало скучновато, и я начал бродить по квартире. При маме тут было удобно. А для одного квартира слишком велика, пришлось перетащить к себе стол из столовой. Так я теперь и живу в одной комнате, тут у меня стоят соломенные стулья, уже немного продавленные, зеркальный шкаф (зеркало пошло желтыми пятнами), туалетный столик и кровать с медными прутьями. Остальное все в забросе. Немного погодя от нечего делать я взял старую газету и стал читать. Вырезал рекламу слабительной соли и наклеил в старую тетрадь, я туда вклеиваю все, что попадется в газетах забавного. Потом вымыл руки и наконец шагнул на балкон.

Моя комната выходит на главную улицу предместья. День стоял погожий. Но накатанная мостовая жирно блестела, прохожих было мало, и почему-то они торопились. Некото-

рые вышли на прогулку всей семьей. Сперва прошли два мальчугана, будто одеревеневшие в парадных наглаженных матросках и в штанах ниже колен, и девочка с большим розовым бантом, в черных лакированных туфельках. За ними – огромная, толстая мамаша в коричневом шелку и маленький, щуплый папаша, я его знаю в лицо. На нем галстук бабочкой, жесткая соломенная шляпа, в руке трость. Увидав его рядом с женой, я понял, почему в нашем квартале он считается человеком весьма достойным. Немного спустя прошли молодые люди – волосы напомажены, красные галстуки, пиджаки в талию, из нагрудных карманов торчат вышитые платочки, у башмаков квадратные носы. Видно, собрались в город, в кино. Потому они и вышли спозаранку, и спешат к трамваю, и хохочут во все горло.

Потом улица понемногу опустела. Наверно, всюду начались сеансы. На улице остались только лавочники да кошки. Над фикусами, которые растут вдоль домов, небо чистое, но неяркое. Хозяин табачной лавки, что через дорогу, выставил стул на тротуар у входа и уселся верхом, опершись локтями на спинку. Еще недавно трамваи были набиты битком, а сейчас идут почти пустые. Рядом с табачной лавкой, в маленьком кафе «У Пьеро», безлюдно, официант посыпал пол опилками и подметает. Сразу видно – воскресенье.

Я повернул свой стул и тоже, как торговец табаком, оседлал его – оказывается, так удобнее. Выкурил две сигареты, вернулся в комнату, отломил кусок шоколада, подошел к окну и стал жевать. Вскоре небо нахмурилось, и я подумал, что налетит летняя гроза. Но понемногу опять прояснилось. Однако после того как прошли облака, улица так и осталась хмурой, будто в предчувствии дождя. Я еще долго сидел и смотрел на небо.

В пять часов с грохотом прикатили трамваи. Они везли народ с дальнего стадиона, люди гроздьями висели по бокам и на подножках. Следующие вагоны привезли игроков, я их признал по чемоданчикам. Они орали и пели песни во славу своей непобедимой команды. Некоторые махали мне руками. Один даже крикнул:

– Наша взяла!

И я кивнул в ответ.

После этого потоком хлынули машины.

День еще немного померк. Небо над крышами стало краснеть, и с наступлением вечера улицы оживились. Люди возвращались с прогулки. Среди прочих я узнал достойного отца семейства. Детишки хныкали и едва плелись, их тащили за руку. И сейчас же кинотеатры всего квартала выплеснули на улицу волну зрителей. Молодые люди шагали решительней обычного и энергичней размахивали руками – наверно, фильм был приключенческий. Те, кто ездил в кино в центр города, вернулись позже. Эти держались серьезнее. Иногда они смеялись, но чаще лица у них были усталые и задумчивые. Они не расходились по домам, а прогуливались взад и вперед по тротуару напротив. Девушки с непокрытыми головами гуляли, взявшись под руки. Молодые люди нарочно шли им навстречу и отпускали всякие шуточки, а они со смехом отворачивались. С некоторыми девушками я был знаком, они кивали мне и улыбались.

Внезапно зажглись уличные фонари, и первые проглянувшие в небе звезды побледнели. Оттого, что я долго смотрел на улицу, полную огней и прохожих, у меня зарябило в глазах. Мостовая лоснилась под лучами фонарей, в отсвете проходящих трамваев порой вспыхивали чьи-то волосы, улыбка или серебряный браслет. Понемногу трамваи стали реже, небо над деревьями и фонарями совсем почернело, квартал незаметно опустел, и вот уже совсем безлюдную улицу лениво перебежала первая кошка. Тут я подумал, что надо бы пообедать. Я так долго сидел, опершись на спинку стула, что у меня затекла шея. Я вышел купить хлеба и макарон, сварил макароны и стоя поел. Хотел было выкурить у окна еще сигарету, но потянуло холодом, и мне стало зябко. Я закрыл окно и, отходя от него, увидел в зеркале угол стола и на нем спиртовку и куски хлеба. И подумал – вот и прошло воскресенье, маму похоронили, завтра я пойду на работу, и, в сущности, ничего не изменилось.

III

Сегодня в конторе у меня набралось много дела. Патрон был любезен. Спросил, сильно ли я устал, и тоже поинтересовался, сколько маме было лет. Чтобы не ошибиться, я сказал просто: «Седьмой десяток». И почему-то у него на лице выразилось облегчение, словно он решил, что говорить больше не о чем.

У меня на столе громоздилась куча накладных, надо было все их разобрать. Перед тем как пойти завтракать, я вымыл руки. Среди дня это очень приятно. Вечером мне это меньше нравилось: полотенцем возле умывальника пользуется вся контора, и за день оно становится совсем мокрым. Однажды я сказал об этом патрону, он ответил – да, нехорошо, но, в сущности, это мелочь. Завтракать я пошел немного позже обычного, в половине первого, вместе с Эмманюэлем – он служит в экспедиции. Наша контора обращена к морю, и мы минуту-другую помешкали – смотрели на торговые суда в залитой солнцем гавани. Тут, треща выхлопной трубой и гремя цепями, появился грузовик. Эмманюэль сказал: «Поехали?» – и я кинулся бежать. Грузовик уже прокатил дальше, мы бросились вдогонку. Меня захлестнуло грохотом и пылью. Я уже ничего не видел и не чувствовал, мы мчались очертя голову между лебедок и машин, мимо посудин у причалов, мачты качались и чиркали по небу. Я первым ухватился за борт грузовика и забрался в кузов. Потом помог Эмманюэлю. Мы еле переводили дух, грузовик подскакивал на неровной брусчатке набережной, среди солнца и пыли. Эмманюэль закатывался хохотом.

Взмокшие, потные, мы ввалились к Селесту. Он был тут как тут, толстопузый, в белом переднике и с белыми усами. Он спросил меня: «Ну как, держишься?» Я сказал «да» и еще сказал, что хочу есть. Мигом все съел, выпил кофе. Пошел домой, немного поспал, потому что за завтраком выпил лишнее, а когда проснулся, захотелось курить. Побоялся опоздать и побежал к трамваю. Работал до вечера. В конторе стояла духота, и вечером я с наслаждением, не торопясь, возвращался по набережной пешком. Небо стало зеленое, мне было хорошо и спокойно. Все же я пошел прямо домой, потому что хотел сварить себе картошки.

Поднимаясь по неосвещенной лестнице, я столкнулся со стариком Саламано – мы живем на одной площадке. Он выводил свою собаку. Уже восемь лет они неразлучны. У этого спаниеля какая-то кожная болезнь, лишай наверно, – он весь облезлый, в болячках и в бурой коросте. Старик Саламано ютится со своим псом в тесной комнатенке и за долгие годы сам стал похож на него. Лицо в красноватых струпьях, редкие выцветшие волосы. А пес перенял у хозяина повадку – какой-то он сутулый, шею вытянул, голову повесил. Похоже, что оба одной породы – и, однако, они друг друга ненавидят. Дважды в день, в одиннадцать и в шесть, старик выводит пса на прогулку. За восемь лет маршрут ни разу не менялся. Они идут по Лионской улице, пес изо всех сил натягивает поводок, старик Саламано начинает спотыкаться. Тогда он колотит пса и ругательски его ругает. Струсив, пес приседает и упирается. Теперь уже старик тянет его за собой. Но стоит псу забыться, и он снова тащит хозяина вперед, а тот опять бьет его и ругает. Станут посреди тротуара и смотрят друг на друга – собака со страхом, человек с ненавистью. И так изо дня в день. Когда пес задирает ногу, старик не дает ему времени и тащит вперед, и за собакой остается след – цепочка мелких капель. И если собаке случится напасть в комнате, на нее снова сыплются побои. Все это длится восемь лет. Селест говорит, что Саламано – негодяй, но ведь никто не знает, как оно на самом деле. Когда я встретил старика на лестнице, он осыпал пса бранью.

– Сволочь! – говорил он. – Подлюга!

Пес в ответ скулил. Я сказал:

– Добрый вечер!

Но старик все ругался. Тогда я спросил, что пес ему сделал. Саламано не ответил, только повторял:

– Сволочь! Подлюга!

В темноте я едва разглядел, что он наклонился над собакой и как будто поправляет ошейник. Я спросил еще раз, погромче. Тогда он ответил, не оборачиваясь, с еле сдерживаемой яростью:

– Опостылел он мне...

И ушел, волоча за собой пса, а тот скулил и упирался всеми четырьмя лапами.

Тут вошел другой мой сосед по лестничной площадке. В нашем квартале он слывет сутенером. Но когда его спрашивают, чем он занимается, он называет себя кладовщиком. Все его недолюбливают. Однако со мной он часто заговаривает, а иногда на минуту заходит ко мне, потому что я готов его слушать. По-моему, он рассказывает интересно. И у меня нет причин с ним не разговаривать. Зовут его Раймон Синтес. Он небольшого роста, плечи широкие, нос как у боксера. Одет всегда с иголочки. Он тоже сказал мне про Саламано:

– Вот негодяй!

И спросил, не противно ли мне все это, а я сказал – нет.

Мы поднялись по лестнице, я хотел уйти к себе, но он сказал:

– У меня есть вино и кровяная колбаса. Может, присоединитесь?

Я подумал, не придется готовить себе ужин, и согласился. У Раймона, как и у Саламано, только одна комната да темная, без окна, кухня. Над кроватью – бело-розовый гипсовый ангел, фотографии чемпионов, две или три картинки, вырезанные из журнала, – голые женщины. В комнате грязно, постель не прибрана. Раймон первым делом зажег керосиновую лампу, потом вытащил из кармана сомнительной чистоты бинт и стал перевязывать себе правую руку. Я спросил, что с рукой. Он объяснил: пристал к нему один фрукт, вот и пришлось подраться.

– Понимаете, господин Мерсо, я человек не злой, но нрав у меня горячий. Тот фрукт мне говорит: «Выходи из трамвая, если ты мужчина!» Я говорю: «Да ладно, отстань». А он мне: ты, мол, не мужчина. Ну я вышел с ним из вагона и говорю: «Лучше отвяжись, не то получишь». А он отвечает: «Черта с два!» Ну тут я ему врезал. Он свалился. Я хотел его поднять. А он лежит и отбивается ногами. Я ему наподдал коленом и еще по морде – раз, раз! В кровь разбил. Спрашиваю: ну как, мол, хватит с тебя? Он говорит: «Хватит».

Рассказывая, Синтес перевязывал руку. Я сидел на его постели. Он сказал еще:

– Понимаете, я к нему не пристава. Он первый меня оскорбил.

Я согласился, что так оно и выходит. Тогда он заявил, что как раз хотел со мной насчет этого посоветоваться, я-то мужчина, притом человек бывалый, и могу ему помочь, и тогда он станет мне другом-приятелем. Я промолчал; тогда он спросил, хочу ли я стать ему другом. Я сказал, что мне все равно, и он, видно, был доволен. Он вытащил колбасу, поджарил ее на сковородке, расставил стаканы, тарелки, достал ножи, вилки и две бутылки вина. И все это молча. Потом мы сели за стол. За едой он начал рассказывать о своих делах. Сперва он немного мялся.

– Я водил знакомство с одной... собственно говоря, она моя любовница...

Человек, с которым он подрался, – брат этой женщины. Раймон сказал, что содержал ее. Я промолчал, и, однако, он сейчас же прибавил, что знает, какие про него ходят сплетни по всему кварталу, но совесть его чиста, он работает кладовщиком.

– Так вот, – продолжал он, – заметил я, что меня водят за нос.

Он давал любовнице ровно столько, чтоб хватало на жизнь. Сам снимал ей комнату и давал двадцать франков в день на еду.

– Триста франков за комнату, шестьсот на еду, время от времени пара чулок – вот вам тысяча франков. И дамочка не работала. Но вечно уверяла, что этих денег ей никак не хва-

тает. Я ей говорю: «Пошла бы работать на полдня. Избавила бы меня от мелких расходов. Я тебе в этом месяце купил костюм, я тебе даю двадцать франков в день, я плачу за твою комнату, а ты еще среди дня распиваешь с приятельницами кофе. Угощаешь их кофе с сахаром. И все на мои деньги. Я с тобой по-хорошему, а ты как поступаешь?» Но она не работала, только знай твердила, что денег ей никак не хватает, ну под конец я и понял, что меня водят за нос.

И Раймон рассказал мне, что нашел в сумочке у любовницы лотерейный билет, и она не могла объяснить, на какие деньги его купила. Немного позже он нашел у нее квитанцию – оказалось, она заложила в ломбарде два браслета. А он и не подозревал, что у нее есть браслеты.

– Тут-то я ее и раскусил. И тогда я с ней расстался. Но сперва отлупил ее. И выложил начистоту, что я про нее думаю. Ты, говорю, только и знаешь, что забавляешься в постели с кем попало. Понимаете, господин Мерсо, я ей так и сказал, я, говорю, тебя осчастливил, все тебе завидуют, а ты не ценишь. Еще пожалеешь, да поздно будет.

Он избил ее в кровь. Прежде он ее не бил.

– Поколачивал, но только так, любя. Она, бывало, всплакнет, я закрою ставни, и все кончается самым обыкновенным образом. А на этот раз дело серьезное. И, скажу вам, я еще не проучил ее как следует.

Он объяснил, что тут-то ему и нужен мой совет. Потом остановился и поправил фитиль, потому что лампа коптила. Я молчал и слушал. Я выпил чуть не литр вина, и у меня сильно шумело в голове. Я курил сигареты Раймона, своих у меня не осталось. Проходили последние трамваи, унося с собой затихающие отголоски дневного шума. Раймон продолжал рассказывать. Он еще не охладел к этой шлюхе, вот что досадно. Но он непременно ее проучит. Сперва он хотел привести ее куда-нибудь в гостиницу и вызвать полицию нравов: пускай разыграется скандал и она получит желтый билет. Потом обратился к друзьям – у него в этих кругах есть свои люди. Они ничего путного не присоветовали. Что толку после этого водить с ними дружбу, заметил Раймон. Он им так и сказал, и тогда они предложили поставить ей на роже метку. Но ему не это нужно. Он еще поразмыслит. Но сперва он хочет меня кое о чем попросить. Нет, еще прежде того вопрос: что я думаю обо всей этой истории? Я сказал – ничего не думаю, просто это любопытно. А как я думаю, обманывала она его? Да, пожалуй, обманывала. А как я думаю, надо ее проучить? И как бы я поступил на его месте? Я ответил – трудно сказать, но что он хочет ее проучить – это я понимаю. Потом я выпил еще вина. Раймон закурил сигарету и раскрыл мне свой план. Он напишет ей письмо, в котором «даст ей по морде» и в то же время заставит раскаяться. А потом, когда она вернется, он ляжет с ней в постель и «в самую последнюю минуту» плюнет ей в лицо и выгонит вон. Я согласился – да, таким образом она и вправду будет наказана. Но Раймон сказал, что он, пожалуй, не сумеет составить такое письмо, вот он и подумал – может, я напишу за него. Я ничего не ответил, и он предложил, если я не против, заняться этим сейчас же. Я сказал, что не против.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.